

ПЕПЕЛ
ФИНИСТА
ЯСНА СОКОЛА

УЭСЛИ КАРТЕР

18+

Уэсли Картетр

Пепел Финиста Ясна Сокола

«Автор»

2026

Картетр У.

Пепел Финиста Ясна Сокола / У. Картетр — «Автор», 2026

Спектакль о вербовке женщин должен был предупредить о ловушке радикализма. Но антикультовая экспертиза объявляет сострадание к героиням оправданием терроризма. Журналистка Нина Вяземская видит: судят не только режиссера и драматурга, а само право искусства на смысл.

Уэсли Картетр

Пепел Финиста Ясна Сокола

Это произведение создано как художественный текст. Все действующие лица, обстоятельства, организации и события существуют в пространстве авторского вымысла или даны в художественной интерпретации. Любое сходство с реальными людьми, независимо от того, живы они или умерли, а также с реальными организациями, компаниями и событиями следует считать случайным.

Пролог

Майский свет, серый и водянистый, с трудом пробивался сквозь высокие окна, ложась тусклыми квадратами на дубовый паркет. Нина Каретская сидела за массивным письменным столом, перебирая утреннюю почту. Ей было восемьдесят восемь лет. За эти годы она разучилась удивляться государству, но всё ещё сохраняла способность поражаться его топорной, лишенной всякого изящества грубости.

На столе, среди раскрытых книг и рецептов, лежали старые фотографии. Лица людей, которых давно не было в живых. Расстрелянный двоюродный дед. Муж, когда-то мечтавший ставить Шекспира, но сгинувший в лагерной пыли. Друзья-правозащитники из семидесятых, чьи голоса теперь звучали только в архивных записях радиостанций, глушившихся советскими вышками. Это была другая эпоха, когда за неосторожно сказанным словом тоже приходили по утрам.

Резкий, продолжительный звонок в дверь разорвал утреннюю тишину.

Нина медленно поднялась, опираясь на трость. На пороге стояли трое. Двое молодых людей в штатском с одинаково пустыми, профессионально-скучающими лицами, и один постарше, в форме Следственного комитета. Он сухо представился и протянул бумагу. Постановление об обыске.

Нина Каретская пробежала глазами по строчкам. Формально визит был связан с уголовным делом её внучки, режиссера Виктории Берестович. Спектакль, который поставила Женя — пьеса о женщинах, обманутых вербовщиками. Нина перевела взгляд с гербовой печати на лица следователей, затем посмотрела на свои бесконечные книжные шкафы, уходящие под потолок.

«Они снова пришли не за вещами, — подумала она, отступая вглубь коридора, пропуская чужих людей в свой дом. — Они пришли проверить, жива ли ещё память».

Сотрудники начали осмотр. Они действовали методично, но без понимания ценности того, к чему прикасались. Один из них, в светлой куртке, стал вытаскивать папки из нижнего ящика стола. Он листал старые письма, написанные от руки, брал в руки книги с дарственными надписями, которых никогда не читал и не собирался. Его пальцы небрежно сдвинули в сторону фотографию мужа Нины в деревянной рамке.

Нина подошла и спокойно, без единого слова, поправила рамку, вернув её на прежнее место. Следователь на секунду замер, встретившись с её взглядом, и молча отвернулся к следующей полке.

Она села в кресло в углу комнаты, наблюдая за происходящим. Русская интеллигенция, размышляла Нина, слушая шорох выворачиваемых ящиков, никогда не была просто сословием. Не была она ни профессией, ни элитным клубом образованных людей. Это всегда была форма внутреннего долга. Интеллигент в России — это не тот, кто цитирует Мандельштама наизусть. Это тот, кто физически не может сделать вид, что не понимает, что происходит.

Память услужливо подбрасывала картинки из прошлого. Черные машины у подъездов. Ночные звонки, от которых холодело внутри. Доносы, написанные соседями. Подписи под коллективными письмами, ломавшие чужие судьбы. Она помнила тесные советские кухни, застав-

ленные пустыми бутылками и пепельницами, где люди говорили правду исключительно шёпотом, включив воду в раковине. Помнила писателей, которые умели сказать самое главное через притчу, через сказку, через долгую театральную паузу.

Театр всегда оставался последним убежищем русской правды. Когда нельзя было сказать прямо, говорили через образ. Когда запрещалось называть имя преступника, на сцену выводили его тень. Когда было смертельно опасно спорить с властью, герои спорили с судьбой, с античными богами, с царем из древней сказки, с тенью мертвого отца или молчаливой птицей. Зритель сидел в темном зале и всё понимал. Это был тайный договор между сценой и залом, который государство не могло расшифровать.

Но теперь, глядя на то, как следователь складывает в пластиковый пакет Женины черновики, Нина понимала: пришли и за этим.

Теперь правду нельзя спрятать даже в сказке. Новая система научилась вскрывать метафоры. Теперь театральную паузу допросят под протокол. Теперь сострадание к героине внесут в экспертное заключение какотягчающее обстоятельство. Теперь спектакль прочтёт не зритель в зале, а специалист по угрозам в кабинете с портретом президента.

Обыск в её квартире не был случайностью. Это не процессуальная формальность, как утверждал человек в форме. Это символ. Система входила не только в дом её внучки. Она выламывала дверь в дом всей русской культурной интеллигенции.

«Они боятся не Жени, — думала Нина, глядя на пылинки, танцующие в луче света. — Не Елены. И даже не одного конкретного спектакля. Они боятся той старой, неискоренимой привычки русской интеллигенции — видеть правду там, где власть велит видеть угрозу».

— Это ваши рукописи? — спросил сотрудник в штатском, поднимая стопку исписанных листов.

— Пока ещё мои, — ровным голосом ответила Нина.

Он не понял иронии. Просто кивнул и начал что-то быстро записывать в протокол.

Нина смотрела на его склоненную голову и ясно осознавала, что новая власть над словом гораздо страшнее старой, советской цензуры. Старая цензура просто вычёркивала. Она заливала строки черными чернилами и говорила: «Этого нельзя печатать». Новая цензура действовала иначе. Она подменяла смыслы. Она говорила: «Вы напечатали не то, что думаете. Мы, эксперты, сейчас объясним суду и обществу, что вы имели в виду на самом деле».

Именно это они сделали со спектаклем Жени. «Финист» был создан как крик, как предупреждение о том, как легко женщина попадает в сети вербовщика. Но пришли люди с научными степенями по несуществующим наукам и объявили предупреждение — пропагандой. Женщины в пьесе были жертвами обмана. Но сострадание к их поломанным жизням назвали оправданием терроризма. Театр пытался показать механизм лжи, изучить его на сцене. Но государственная лож оказалась быстрее, масштабнее, и пришла в форме официального экспертного заключения с синими печатями.

Обыск подходил к концу. Коробки с изъятymi бумагами и старым ноутбуком уже стояли у дверей.

Нина Каретская тяжело поднялась из кресла и подошла к своему столу. Следователи уже потеряли к нему интерес. На зеленом сукне лежал старый листок бумаги с недописанной утренней мыслью. Она взяла перьевую ручку, ту самую, которой пользовалась последние сорок лет. Рука немного дрожала, но почерк оставался твердым.

Она прижала перо к бумаге и вывела последнюю фразу:

«В России сначала судят слово, а потом удивляются, что люди замолчали».

Глава 1. Право на жизнь

Сцена тонула в густой, искусственно выстроенной темноте. Единственным источником света в этом черном кубе оставался холодный прямоугольник смартфонного экрана. Синеватое свечение выхватывало из мрака лицо Марьи. Усталость лежала в напряженных складках у губ,

в опущенной линии плеч, в механическом движении большого пальца, листающего бесконечную ленту чужих, одинаково благополучных жизней.

Звук уведомления разрезал тишину зала резко, вырвав героиню из оцепенения.

Палец замер над стеклом. Марья не спешила открывать сообщение. Реальность вокруг нее состояла из неоплаченных счетов, запаха сырости в подъезде панельной многоэтажки, равнодушных взглядов в метро и глухого, вязкого одиночества, от которого не спасали ни работа, ни редкие встречи со знакомыми. В этом мире для нее не было места. Виртуальное пространство предлагало иллюзию контроля и надежду на то, что где-то существует иная жизнь.

На экране высветилась иконка. Незнакомый профиль.

Голос Финиста зазвучал не со сцены, а откуда-то сверху, из динамиков под потолком, заполняя собой весь зал. Он был мягким, обволакивающим, лишенным той агрессивной напористости, к которой привыкли женщины в провинциальных городах.

— У тебя уставшие глаза, — произнес невидимый собеседник. — Ты слишком много отдаешь тем, кто этого не ценит.

Актриса, играющая Марью, чуть подалась вперед. Свет экрана отразился в ее расширенных зрачках. Виртуальный мужчина всегда оказывается притягательнее реального, потому что зияющие пустоты в его образе легко заполнить собственными ожиданиями. По ту сторону сети не было бытового хамства, перегара или жестокости. Там появился красивый южный профиль на фоне чужого неба. Незнакомец начал с бережного внимания, с простых вопросов о том, как прошел ее день. Затем перешел к робким словам о привязанности, к обещаниям заботы, и наконец предложил то, чего у нее никогда не было — абсолютную значимость.

— Твоя настоящая жизнь еще не начиналась, — продолжал голос Финиста, понижаясь до доверительного шепота. — Я смотрю на тебя и вижу свет. Они не понимают твою истинную суть. А я понимаю.

Зрители сидели неподвижно, почти не дыша. В зале совершался невидимый, но необратимый перелом. Девушка на сцене поверила. Она еще не знала, что за красивыми словами скрывается опытный вербовщик радикальной организации. Она просто откликнулась на обещание спасения, отчаянно желая вырваться из непонимания и найти сильное, заботливое плечо. Марья быстро набрала ответ, отправляя свою судьбу в чужие руки, и свет экрана погас, погрузив сцену в полную темноту.

Курсор мыши замер на кнопке паузы.

Кабинет на шестом этаже здания Следственного комитета был залит ровным, безжалостным светом потолочных панелей. На массивном столе, свободном от лишних бумаг, тихо гудел системный блок. Следователь Игнатов открыл папку на рабочем столе служебного компьютера. Видеофайл назывался сухо: «Любимовка_2020_читка».

Офицер кликнул по иконке. На мониторе развернулась архивная запись.

Никаких сложных декораций или театрального света на видео не было. На экране сидели женщины в темных платках. Это была классическая читка пьесы Елены Петрицкой, которую режиссер Виктория Берестович читала вместе с актрисами. Они просто произносили текст с абсолютной точностью. Звучали документальные монологи молодых женщин, которые, одурманенные мечтой о родной душе, поверили в восточную сказку и сделали шаг в пропасть.

Игнатов слушал ровные, лишенные наигрыша голоса. Для театрального сообщества это было мощное высказывание о женской уязвимости. Для следователя — цифровой след, подлежащий квалификации по двести пятой статье Уголовного кодекса.

Справа от клавиатуры лежала стопка распечаток. Верхний лист был озаглавлен как предварительная «деструктологическая экспертиза». Автором значился Роман Силантьев. Игнатов пробежал глазами по абзацам, выделенным желтым текстовыделителем. Документ предлагал совершенно иную оптику для просмотра видеозаписи, переводя художественный текст на язык уголовного делопроизводства.

«Для продвижения этих идеологий драматург использует такие литературные приемы, как романтизация, оправдание и героизация террористов, а также изображение стойкости и преданности их спутниц в борьбе с унижением, которому подвергаются российские мусульмане с одной стороны; а с другой стороны, она изображает русских женщин, униженных и обманутых невоспитанными русскими мужчинами».

Мужчина перевел взгляд обратно на экран. Актриса произносила монолог героини, рассказывающей, как она продала квартиру, чтобы купить билет в Сирию к человеку, которого никогда не видела вживую. В интонации чтицы звучала горечь сломанной судьбы. Героиня пьесы заплатила за свою ошибку реальным тюремным сроком, насилием и уничтоженной жизнью. Текст кричал о том, что терроризм — это великое зло и абсолютное горе.

Но бумага на столе требовала игнорировать интонацию и финал. Экспертиза устанавливала новые правила чтения: художественное изображение явления приравнивалось к его одобрению. В документе отсутствовал профессиональный анализ композиции, авторской дистанции или последствий поступков героев. Вместо этого использовался манипулятивный прием — эмоциональное приравнивание показа к пропаганде.

Пробел на клавиатуре щелкнул с сухим, пластиковым звуком. Видео остановилось на кадре, где одна из актрис опускает глаза к распечатке пьесы.

Игнатов взял шариковую ручку. Рабочий блокнот в черной кожаной обложке лежал раскрытым. На чистом листе появилась первая запись: дата, название пьесы, таймкод видео. Затем он выписал фразу из монолога героини о поисках идеального мужа. Под ней следователь аккуратно, с нажимом вывел слово «оправдание» и подчеркнул его двумя прямыми линиями.

Механизм подмены был запущен. Живая человеческая боль, зафиксированная в тексте пьесы, извлекалась из контекста и трансформировалась в состав преступления. Игнатов перевернул страницу экспертизы. Следующий абзац поражал своей логикой еще больше. Силантьев утверждал, что всплеск преступлений, вызванных радикальными феминистскими идеями, совпал со снижением исламистской преступности, а пьеса Петрицкой якобы успешно преодолевает этот спад интереса к радикальным идеям.

Следователь не стал вникать в абсурдность связи между феминизмом и исламизмом. Его задача заключалась не в поиске истины, а в формировании доказательной базы на основе предоставленного документа. Если сертифицированный специалист пишет, что в тексте есть скрытая угроза, следствие обязано эту угрозу нейтрализовать.

Кофейня на Покровке наполнялась утренним гулом голосов, звоном чашек о блюда и шипением кофемашины. Нина Вяземская сидела за угловым столиком у окна. Перед ней лежал раскрытый ноутбук с недописанной статьей о проблемах современного репертуарного театра. Кофе в белой керамической кружке давно остыл, подернувшись тонкой пленкой.

Короткая вибрация телефона отвлекла её от текста. На экране высветилось пуш-уведомление из закрытого театрального чата.

«У Берестович обыск. СК. Петрицкую тоже задержали».

Вяземская моргнула, перечитывая три коротких предложения. Буквы казались нереальными, вырванными из какого-то другого, антиутопического контекста и насильно вставленными в её спокойное московское утро.

Пальцы сами набрали номер Жени. Гудков не было. Женский механический голос оператора бесстрастно сообщил, что абонент временно недоступен.

Нина медленно положила телефон на деревянную столешницу. Аппарат Берестович, скорее всего, уже лежал в прозрачном пластиковом пакете для вещдоков, изъятый людьми в штатском во время утреннего визита.

Она откинулась на спинку стула, глядя сквозь стекло на спешащих по улице прохожих. В памяти мгновенно, до мельчайших деталей всплыла та самая постановка «Финист Ясный Сокол». Это был жесткий, аналитический спектакль, точный разговор о механизмах манипу-

ляции. Режиссер Олег Липовецкий, видевший спектакль, прямо называл постановку патристическим спектаклем о любви. Текст Петрицкой работал как предупреждение, как прививка от чужой лжи.

Девушки в пьесе были показаны как жертвы криминальной террористической организации, которая заманивала доверчивых людей с целью их эксплуатации. Их судьбы вызвали сочувствие. Невозможно было остаться равнодушным к тому, как отчаянная вера в чудо приводила их в тюремные камеры. Спектакль работал точно так же, как история Раскольникова: зритель, наблюдающий за падением героя, испытывал ужас от содеянного и терял любое желание повторять этот путь.

«Как можно доказать упрямым слепцам, что белое — это не черное?» — пронеслось в голове Нины фраза одной из её коллег, написанная после первых нападков на спектакль.

Мессенджер на экране ноутбука ожил. Чат разрывался от десятков сообщений. Драма-турги, критики, актеры перекидывались ссылками на новостные ленты. Никто в профессиональном сообществе не мог поверить в реальность происходящего. Статья 205.2 УК РФ — публичное оправдание терроризма.

Вяземская начала быстро печатать ответ, призывая коллег не паниковать и дожидаться официальной информации, но остановилась на полуслове. Кнопка «удалить» стерла набранный текст. Слова казались бесполезными, лишенными всякого веса перед лицом государственной машины. Она вдруг с кристальной ясностью осознала всю чудовищность происходящего. Спектакль, который вскрывал механизм вербовки, спектакль, который показывал, как радикалы манипулируют сознанием, сам был объявлен радикальным.

Кто-то из участников чата переслал первый слитый в сеть фрагмент документа — той самой экспертизы, на основании которой возбудили дело. Нина вчиталась в строки, изобилующие наукообразными терминами.

Текст читался как дурная шутка. Это был не научный анализ произведения искусства. Это был публицистический донос, использующий эмоционально окрашенную лексику для создания образа врага. Эксперт упоминал «высокопрофессиональные видеоролики ИГИЛ с живыми отрезаниями голов», намеренно сгущая краски и пытаясь шокировать читателя, вместо того чтобы анализировать структуру пьесы. Художественный вымысел оценивался не по законам театра, а по законам пропаганды.

Смотря спектакль Берестович, невозможно было не заметить поразительных параллелей с известным фильмом «Профиль», где британская журналистка внедрялась в сеть вербовщиков и шаг за шагом раскрывала их стратегии. Театральная постановка делала то же самое для российской реальности. Она обнажала устройство ловушки. Но именно это обнажение антикультовые эксперты называли угрозой.

В спектакле Финист забирает у Марьи её прошлое. Он убеждал её, что все прежние ценности семьи — ложь, что близкие люди тянут её на дно, а настоящий смысл доступен только избранным. Вербовщик брал живого, сомневающегося человека и помещал его в жесткую сетку своей идеологии, где не было места сложным чувствам.

Сейчас, глядя на экран ноутбука, Вяземская видела, как тот же самый механизм применяется уже не на сцене, а в следственной практике.

Система делала с текстом пьесы то же самое, что террористы делали с женщинами. Она лишала текст его подлинного смысла. Эксперты отсекали сложную психологическую проработку характеров, полностью игнорировали финал и выхватывали отдельные фразы из контекста, помещая их в заранее выстроенную рамку обвинения.

Они переводили сострадание на язык угрозы.

Нина заказала у подошедшего официанта еще один эспрессо. Ей нужно было зацепиться за какое-то простое, бытовое действие. За соседним столиком две молодые девушки громко обсуждали предстоящую сессию, смеясь над шутками друг друга. Улица за панорамным окном

жила своей обычной весенней жизнью. Никто из прохожих не знал, что в этот самый утренний час в закрытых кабинетах переписываются правила игры для всей российской культуры.

Дело было не только в судьбах Жени и Светы, как бы страшно это ни звучало. Выбор мишени поражал своей расчетливой, почти дьявольской точностью. Если можно взять произведение с абсолютно однозначным антитеррористическим посылом, спектакль, который публично одобрили представители духовенства, постановку, получившую две «Золотые маски», — и объявить её оправданием терроризма, значит, можно всё.

Это была демонстрация почти безграничной власти над смыслами. Российскому обществу показывали, что отныне мнение конкретной околоправославной антикультовой структуры будет определять, как именно следует трактовать произведения искусства.

Вяземская открыла новую вкладку в браузере и вбила в поисковую строку имя создателя деструктологии: Роман Силантьев. Следом добавила: Александр Дворкин. Экран мгновенно заполнился ссылками на статьи, выступления, отчеты с круглых столов и международных конференций. Десятки материалов, в которых одни и те же люди годами рассуждали о скрытых угрозах, деструктивных субкультурах и необходимости защищать традиционные ценности от манипуляций.

Это не было случайной ошибкой следователя, неправильно понявшего метафору. Это была система. Огромная сеть, которая десятилетиями выстраивала свою собственную терминологию, чтобы в нужный исторический момент предложить её государству как готовый, универсальный инструмент репрессий. Они научились говорить языком безопасности, подменяя им язык права и здравого смысла.

На мониторе следователя Игнатова архивная видеозапись подошла к концу. Женщины на экране замолчали, опустив листы с текстом на колени. Зал на записи взорвался долгими, тяжелыми аплодисментами, но офицер выключил звук. Ему не нужны были овации зрителей или рецензии критиков. Ему нужны были доказательства умысла для протокола.

Он закрыл медиаплеер и сохранил текстовый документ на рабочем столе. В его блокноте слово «оправдание» оставалось обведенным дважды. Завтра этот блокнот ляжет в основу официального ходатайства об аресте. Завтра судья в черной мантии вынесет постановление о заключении женщин под стражу. А сегодня нужно было просто дооформить процессуальные бумаги и подписать к делу рапорты оперативников.

Следователь поднялся из-за стола, подошел к окну и приоткрыл пластиковую створку. В душный кабинет ворвался густой шум Садового кольца. Игнатов не испытывал ни личной ненависти к авторам пьесы, ни профессиональных сомнений в своей правоте. Он просто выполнял работу в рамках предложенной ему экспертной парадигмы.

На сцене театра, в воспоминаниях Нины Вяземской, Марья всё еще смотрела на экран своего телефона, где светилось последнее сообщение от незнакомца.

«Ты готова оставить всё ради настоящей жизни?» — спрашивал виртуальный Финист.

Марья верила, что делает шаг к свободе, не понимая, что добровольно заходит в тесную, темную клетку чужой идеологии.

Нина Вяземская смотрела на экран своего ноутбука, где в мессенджере продолжали множиться панические сообщения от коллег. Культурное сообщество еще по инерции верило, что это просто чудовищное недоразумение. Люди надеялись, что ошибку можно исправить открытыми письмами, блестящими поручительствами известных деятелей искусств, независимыми лингвистическими экспертизами и простой логикой. Они еще верили в силу человеческого слова.

Но механизм перевода уже работал на полных оборотах. Первое сообщение было отправлено и прочитано. Система сделала свой безвозвратный шаг, вырвав двух женщин из пространства искусства и поместив их в глухую камеру уголовного дела, где слова больше не принадлежали авторам, а сострадание официально стало преступлением.

Глава 2. Надежда на спасение

Микрофон на массивной дубовой трибуне издал короткий, режущий слух свист. Сидящие в первых рядах люди в строгих серых костюмах синхронно поморщились, но никто не отвел взгляда от сцены. Зал заседаний дышал тяжелым, спертým воздухом, в котором смешались запахи дорогого парфюма, нагретой суконной обивки кресел и бумажной пыли. Над головой выступающего тяжело нависал государственный герб, отливающий тусклым золотом в свете потолочных люстр.

Роман Силантьев поправил листы перед собой. Его поза выражала абсолютную, непоколебимую уверенность человека, который не просто читает доклад, а диктует новую реальность.

Нина Вяземская сидела в четырнадцатом ряду, положив на колени раскрытый блокнот. Журналистский бейдж слегка натирал шею. Вокруг нее расположились чиновники профильных ведомств, сотрудники региональных министерств культуры и несколько человек в рясах — представители Новосибирской епархии, специально приехавшие в столицу. Конференция была заявлена как научно-практическая, но атмосфера в зале больше напоминала инструктаж перед масштабной силовой операцией.

— Современные вызовы требуют универсального подхода, — голос Силантьева заполнил помещение, отражаясь от деревянных панелей на стенах. — Прежние методы оценки угроз безнадежно устарели. Узкие специалисты, будь то религиоведы или лингвисты, больше не способны разглядеть картину целиком. Они тонут в деталях, в то время как преступники действуют с поистине адским размахом и фантазией. Именно поэтому нами была разработана совершенно новая прикладная наука.

Оратор выдержал паузу, позволяя залу впитать сказанное.

— Деструктология, — произнес он это слово так, словно вручал присутствующим универсальный ключ от всех дверей.

Нина быстро записала термин. В МГЛУ уже работала лаборатория деструктологии, а на основе лекций её руководителя был издан учебник «Основы деструктологии». Новая дисциплина обещала изучать «деструктивные образования»: террористов, экстремистов, тоталитарные секты, опасные молодёжные субкультуры, суицидальные интернет-группы и всё прочее, что можно было поместить под общий колпак угрозы.

Вяземская смотрела на лица слушателей. Чиновники кивали. Псевдонаучные термины, лишенные какой-либо строгой академической базы, воспринимались здесь как долгожданное откровение. Людям в зале не нужна была истина. Им был нужен удобный, легитимно звучащий инструмент для работы с теми, кто мыслит иначе.

На театральных подмостках не было ни гербов, ни трибун. Пространство сузилось до размеров крошечной кухни в типовой панельной многоэтажке. Резкий луч прожектора выхватывал из полумрака фигуру Марьи, сидящей на табурете. Перед ней стояла нетронутая чашка чая.

Голос Финиста не гремел из динамиков, а звучал вкрадчиво, почти интимно, словно он находился прямо за ее спиной, касаясь дыханием волос.

— Посмотри на них, Марья. Просто открой глаза и посмотри на тех, кто тебя окружает, — произносил невидимый собеседник. В его интонациях не было давления, только безграничное, обволакивающее сочувствие. — Что они видят, когда смотрят на тебя? Удобную функцию. Приложение к быту. Они не способны оценить твою душу, потому что сами давно ослепли.

Актриса медленно подняла голову. В ее движениях читалась та специфическая, накопившаяся годами усталость, которую невозможно выспать. Это была усталость от постоянного обесценивания, от необходимости каждый день доказывать свое право на существование в мире, где она никому не была по-настоящему интересна.

— Ты думаешь, это твоя вина? — продолжал голос, становясь чуть тверже. — Ты думаешь, что с тобой что-то не так? Нет. Это мир вокруг тебя сломан. Они живут в грязи и хотят,

чтобы ты тоже считала эту грязь нормой. Но ты другая. Я почувствовал это с первого твоего слова. Ты — чистый свет, Марья. Ты избранная.

Девушка на сцене судорожно вздохнула. Вербовщик наносил удары с предельной точностью. Он не предлагал ей сразу надеть пояс смертницы или отправиться в зону боевых действий. Он предлагал ей спасение от обыденности. Он давал ей то, в чем она нуждалась больше всего — ощущение собственной исключительности и правоты.

— Я единственный, кто понимает твою истинную суть, — шептал Финист. — И я заберу тебя оттуда. Я дам тебе настоящую жизнь, где каждое твое действие будет иметь великий смысл.

Зритель в зале видел, как на лице героини проступает робкая, почти болезненная улыбка. Она начинала верить, что невидимый спаситель действительно существует. Ловушка захлопывалась не с лязгом железа, а с тихим шелестом красивых слов о предназначении.

В конференц-зале Силантьев перешел к следующей части своего доклада. Свет от проектора выхватил на белом экране за его спиной сложную схему, где стрелками соединялись совершенно несопоставимые понятия.

Нина Вяземская достала смартфон и, прикрыв экран ладонью от соседей, открыла браузер. Она помнила, что всего пару недель назад в сети появилось открытое письмо российских ученых. Более двухсот академиков, докторов наук, биологов, лингвистов и физиков из комиссии по борьбе с лженаукой прямо называли деструктологию фикцией.

Пальцы Нины быстро вбили поисковый запрос. Ссылка, сохраненная в ее закладках, выдала ошибку 404. Страница не найдена. Она попробовала зайти через веб-архив — пустота. Текст, подписанный крупнейшими умами страны, сравнивавший новую «науку» с гаданием по форме тела и астрологией, был методично и аккуратно вычищен из публичного доступа. Остались лишь непрямые упоминания в статьях Википедии. Государственная машина стирала любые следы академического сопротивления, оставляя монополию на истину за человеком на трибуне.

— Мы должны четко понимать, с кем имеем дело, — вещал Силантьев, опираясь руками о края кафедры. — Нельзя позволять им прятаться за красивыми словами о свободе совести или художественном поиске. Возьмем, к примеру, религиозную сферу. Для России традиционен лишь тот ислам, последователи которого готовы быть законопослушными гражданами своего государства и уважать христианское большинство.

Вяземская перестала печатать. Она вслушалась в формулировку. Выступающий на глазах у сотен госслужащих отменял богословские и исторические критерии религии, заменяя их исключительно политическим принципом лояльности. Вера теперь оценивалась не по текстам священных писаний, а по степени готовности подчиняться.

— Власти вряд ли будут сотрудничать с откровенно антихристианскими муфтиями, — продолжал он ровным, лекторским тоном. — Те мусульманские лидеры, которых Церковь считает маргиналами и изгоями, рано или поздно станут таковыми и для государства.

Сидящий рядом с Ниной мужчина в сером пиджаке одобрительно закивал, делая пометки в своем блокноте. Никто в зале не замечал, что прямо сейчас происходит узурпация права назначать «правильных» и «неправильных» граждан. Никто не задавал вопросов о том, на каком основании сотрудник лингвистического университета определяет границы традиционных религий.

Это был тот самый алгоритм, который годами обкатывался на религиозных меньшинствах. Сначала вводится размытый, стигматизирующий термин. Затем он применяется к неуютной группе. Группа лишается социальной легитимности, а затем в дело вступают правоохранительные органы.

Но сегодня амбиции выступающего шли гораздо дальше.

— Однако враг меняет тактику, — Силантьев переключил слайд. На экране появилась фотография современного театрального здания. — Они поняли, что открытая вербовка привлекает внимание спецслужб. Поэтому сегодня деструктивные смыслы упаковываются в формы, которые обыватель считает безопасными. В искусство. В современный театр.

В зале повисла плотная, осязаемая тишина.

— Театр стал рассадником скрытых деструктивных смыслов, — чеканил слова докладчик. — Под видом сложных метафор, под видом так называемого «сострадания» к оступившимся, нам транслируют идеологию разрушения. Они показывают вам террориста и заставляют искать в нем человеческие черты. Они показывают вам женщину, уехавшую к боевикам, и требуют, чтобы вы ей сочувствовали, потому что ее якобы не понял русский мужчина. Это не искусство, коллеги. Это информационный террор. И оценивать его должны не театральные критики с их разговорами о катарсисе, а специалисты по безопасности.

Нина почувствовала, как по спине пробежал холодок, несмотря на духоту в помещении. Силантьев не просто критиковал спектакли. Он подводил теоретическую базу под будущие уголовные дела. Он убеждал чиновников, что любая сложность, любая неоднозначность художественного текста — это не признак таланта автора, а тщательно замаскированная угроза государственному строю.

— Нам надо резко ужесточить законодательство и перестать думать, что уговорами можно чего-то добиться, — голос оратора сорвался на жесткие, металлические ноты. — Их надо просто уничтожать. Как фашистов убивали, так и ваххабитов надо убивать.

Фраза прозвучала обыденно, без истерики, как логический вывод из математической формулы. И от этой обыденности становилось по-настоящему страшно. Человек за кафедрой прямо призывал к внесудебным расправам, к отказу от правового поля в пользу силового подавления. И зал, состоящий из людей, обязанных защищать закон, проглотил это без единого звука протеста.

Вяземская смотрела на затылки впереди сидящих людей. Они соглашались. Они были готовы принять эту новую, простую и жестокую картину мира, где нет места сомнениям, где каждый, кто задает сложные вопросы, объявляется пособником врага. Эксперт предлагал им индугенцию на насилие, упакованную в наукообразную форму.

Марья стояла посреди пустой сцены. Луч света сузился, отрезая ее от остального мира, оставляя лишь небольшой круг на деревянном полу. В руках она держала плотный почтовый пакет.

— Открой, — мягко скомандовал голос сверху.

Актриса надорвала бумагу. Внутри лежал платок. Глубокого, насыщенного темного цвета, без единого узора. Ткань казалась тяжелой, плотной. Это был не просто элемент одежды. Это был символ перехода, материальное воплощение того обещания, которое дал ей невидимый собеседник.

— Твоя прошлая жизнь закончилась, — произнес Финист. — В ней были только боль, грязь и унижения. Те люди, которых ты называла семьей, никогда не любили тебя. Они хотели, чтобы ты была удобной. Я хочу, чтобы ты была свободной. Но свобода требует чистоты. Ты готова принять мою правду?

Марья смотрела на ткань в своих руках. В ее глазах читалась внутренняя борьба. Где-то на периферии сознания еще пульсировал страх перед неизвестностью, перед полным разрывом с привычной реальностью. Но голос звучал так убедительно, так уверенно. Он брал на себя всю ответственность за ее судьбу. Ей больше не нужно было принимать сложных решений. Ей нужно было только подчиниться, и взамен она получит статус избранной.

Она медленно подняла руки. Платок лег на волосы, скрывая их. Актриса привычным движением обернула концы вокруг шеи, тщательно пряча выбившиеся пряди. Ткань плотно обхватила лицо, изменив ее облик до неузнаваемости.

В этот момент изменилась и пластика ее тела. Ушла сутулость, исчезла неуверенность в движениях. Марья выпрямилась. Она приняла новые правила игры. Она добровольно надела на себя униформу чужой идеологии, искренне веря, что это и есть доспехи, которые защитят ее от жестокого мира.

— Теперь ты принадлежишь вечности, — прошептал голос и стих.

Свет на сцене медленно погас, оставив зрителей в полной темноте наедине с осознанием того, как легко человек отказывается от самого себя ради иллюзии спасения.

Роман Силантьев закончил выступление и собрал свои бумаги в аккуратную стопку. Зал взорвался аплодисментами. Хлопали плотно, ритмично, с чувством выполненного долга. Чиновники переговаривались, довольно кивая друг другу. Они получили то, за чем пришли — четкую инструкцию, как действовать дальше.

Вяземская не хлопала. Она смотрела, как докладчик спускается по ступенькам в зал, принимая рукопожатия.

Параллель была пугающе точной. Вербовщик на сцене убеждал одинокую женщину в том, что мир вокруг враждебен, и только он знает путь к спасению через отказ от собственной воли. Эксперт в зале убеждал государственную машину в том, что культура таит в себе смертельную угрозу, и только его лаборатория способна ее распознать через отказ от профессионального анализа.

И там, и здесь предлагалась простая, агрессивная картина мира, где сложность объявлялась преступлением. И там, и здесь жертва добровольно принимала новые правила, надевая на себя предложенный платок. Разница заключалась лишь в масштабах. Марья отдавала в руки манипулятора свою собственную жизнь. Государство, аплодирующее сейчас деструктологии, отдавало в руки манипуляторов всю российскую культуру.

Нина закрыла блокнот. Записей было достаточно. Она понимала, что дело Берестович и Петрицкой — это не случайный сбой системы. Это полигон. Именно на спектакле «Финист Ясный Сокол» новая экспертиза должна была доказать свою эффективность. Если им удастся посадить режиссера и драматурга за текст, который прямым текстом осуждает терроризм, значит, механизм работает безупречно. Значит, можно будет прийти за любым.

Люди вокруг начали подниматься со своих мест, направляясь к выходу на кофе-брейк. Нина осталась сидеть. Она смотрела на пустую трибуну с гербом и думала о том, что настоящая катастрофа происходит не тогда, когда звучат призывы к насилию. Настоящая катастрофа наступает в тот момент, когда эти призывы начинают называть наукой.

Глава 3. Разрыв

«Ты ничего не понимаешь. Вы все живете во лжи и хотите, чтобы я тоже в ней захлебнулась».

Фарфоровая тарелка с сухим стуком опустилась на кухонный стол, едва не расколовшись надвое. Актриса, играющая мать Марьи, замерла с протянутыми руками, словно пытаясь удержать невидимую нить, которая стремительно истончалась и рвалась прямо на глазах у зрительного зала. Пространство сцены было выстроено так, чтобы физически подчеркнуть эту растущую пропасть: две женщины стояли на расстоянии вытянутой руки, но между ними уже выросла глухая, непроницаемая стена из чужих слов.

Марья отступила на шаг. В её голосе больше не было прежней мягкости или привычного дочернего раздражения. Она говорила рублеными, заученными фразами, интонационно копируя невидимого собеседника из смартфона.

— Вы никогда меня не любили, — бросила она, глядя поверх головы матери. — Для вас я всегда была просто функцией. Удобной прислужгой. Вы тянете меня на дно, в вашу пустую, бессмысленную жизнь. А там, — она неопределенно взмахнула рукой в сторону кулис, — там настоящая чистота. Там люди готовы отдать жизнь за истину.

Мать попыталась сделать шаг навстречу, её пальцы нервно теребили край кухонного фартука. Женщина пыталась воззвать к памяти, к общему прошлому, к простым бытовым вещам — запаху пирогов по воскресеньям, детским болезням, совместным поездкам на дачу. Но для Марьи всё это теперь было маркировано как «грязный мир». Вербовщик провел блестящую операцию по перекодировке реальности. Он убедил девушку, что любая привязанность к семье — это слабость, а тревога близких — это попытка удержать её в рабстве.

Зрители видели, как героиня добровольно отсекает от себя корни. Она смотрела на самого родного человека и видела врага. Любовь матери казалась ей удушающей клеткой, а холодный, расчетливый план террористов — долгожданным освобождением. Сцена заканчивалась тем, что Марья отворачивалась, надевала темную куртку и уходила вглубь сцены, оставляя мать стоять в одиночестве под тусклым светом кухонного абажура. Связь была разорвана окончательно.

Тяжелые металлические ограждения выстроились вдоль тротуара у здания Замоскворецкого суда, отсекая узкую полосу асфальта от проезжей части. Майский ветер гнал по улице серую пыль, путаясь в волосах собравшихся людей. Толпа у входа росла с каждой минутой. Здесь стояли режиссеры, актеры, театральные критики, драматурги, студенты профильных вузов — те, кто привык осмысливать реальность через текст и сцену, а теперь оказался вынужден столкнуться с реальностью, где текст стал поводом для ареста.

Нина Вяземская стояла в центре этой растерянной, гудящей массы. Люди переговаривались вполголоса, постоянно обновляя ленты новостей на экранах телефонов. Никто не мог пробиться внутрь здания. Судебные приставы в тяжелой черной форме с каменными лицами преграждали путь, монотонно повторяя, что мест в зале нет и пропуск осуществляется только для участников процесса.

Профессиональное сообщество отказывалось верить в происходящее. В воздухе висело плотное, осязаемое недоумение.

Справа от Нины молодой театральный критик быстро набивал текст в мессенджере, параллельно зачитывая вслух фрагменты из только что опубликованных писем поддержки.

— Вот, послушайте, что пишет Лариса Каневская, — произнес он, обращаясь к стоящей рядом группе актеров. — «Как и все спектакли Жени Берестович, этот был о любви, незащищенности и хрупкости человека. Текст Елены Петрицкой основан на документальных историях молодых женщин, которые попались в сети на удочку ласковых слов от мужчин, оказавшихся радикальными исламистами».

Пожилая актриса в сером пальто кивнула, плотнее кутаясь в шарф.

— Именно так, — тихо ответила она. — Каждая из этих девочек искала спасения от одиночества. А преступная террористическая организация заманивала наивных и доверчивых людей, чтобы их использовать. Героини вызывают сочувствие, они заплатили реальными сроками, их жизни сломаны. Пьеса — это притча и предупреждение. Как можно доказывать упрямым слепцам, что белое — это не черное?

Нина слушала эти разговоры и понимала всю глубину когнитивного диссонанса, охватившего интеллигенцию. Театральные люди пытались апеллировать к логике, к здравому смыслу, к художественной ценности произведения. Они цитировали режиссера Олега Липовецкого, который прямо называл постановку аналитической работой и патриотическим спектаклем о любви, объясняющим, что нужно делать, чтобы женщины не уезжали к боевикам. Они пересылали друг другу слова Ольги Федяниной о том, что смысл пьесы сводится к одной простой вещи: любой контакт с людьми, причастными к терроризму, — это самое страшное, что может случиться с человеком в современном мире.

Но государственная машина, выставившая железные кордоны у здания суда, не интересовалась театральной критикой. Ей не нужны были рецензии Марии Варденги, напоминавшей, что спектакль — это активное предупреждение и профилактика подобных случаев среди моло-

дежи. Та же Варденга публично писала, что, по её сведениям, спектакль видели и одобрили несколько муфтиев.

Система работала в другой системе координат.

Вяземская открыла на телефоне сохраненную статью о судебной системе. Взгляд выхватил цитаты президента десятилетней давности. «Я не согласен с тем, что у нас нет полностью независимой судебной системы. Напротив, она у нас есть», — заявлял глава государства на пресс-конференции. И там же: «Наша судебная система действительно очень стабильна. Она развивается, и у нас есть сильные традиции юридического образования и судебной практики».

Сегодня эта «стабильность» демонстрировала свое истинное лицо. Суды были независимы только от здравого смысла и мнения научного сообщества. Когда дело касалось политических или идеологических заказов, судьи превращались в послушных исполнителей, штампующих решения на основе абсурдных экспертиз, написанных людьми вроде Силантьева. Правосудие превратилось в конвейер, где человеческие судьбы перемалывались с пугающей методичностью.

Внезапно толпа качнулась и подалась вперед.

Из-за угла, тяжело урча мотором, выехал белый полицейский автозак с синей полосой на борту. Машина медленно, словно ледокол, прорезала людское море, направляясь к заднему двору суда. За тонированными решетками маленьких окон ничего не было видно, но все знали, кто находится внутри.

Люди начали хлопать. Сначала робко, единично, затем всё громче и увереннее. Аплодисменты, которые Женя и Света привыкли слышать в театральных залах после поклона, теперь звучали на пыльной московской улице, смешиваясь с резкими окриками конвоя. Это был единственный доступный способ выразить поддержку, показать, что связи не разорваны, что театральное братство своих не бросает.

Но автозак скрылся за железными воротами, и хлопки постепенно стихли, оставив после себя гнетущую пустоту.

Внутри Замоскворецкого суда пахло казенной мастикой, старой бумагой и тем специфическим, въевшимся в стены страхом, который всегда присутствует в местах, где решается вопрос о лишении человека свободы.

Зал заседаний был небольшим. Большую часть пространства занимал стеклянный «аквариум» — пуленепробиваемая кабина для подсудимых, пришедшая на смену старым металлическим клеткам. Государство считало, что стекло выглядит гуманнее решеток, но на деле оно создавало эффект полной изоляции. Человек внутри превращался в немого экспоната, отделенного от мира невидимой, но непреодолимой преградой. Звук проходил сквозь узкие щели искаженным, лишенным человеческих обертонов.

Викторию Берестович и Елену Петрицкую завели в зал через боковую дверь. На их запястьях блеснули стальные браслеты наручников. Конвойные действовали быстро, привычными, отработанными движениями сняв наручники только после того, как женщины оказались внутри стеклянного бокса и замок на двери щелкнул.

Обе выглядели уставшими. Бессонная ночь в изоляторе временного содержания, допросы, неопределенность — всё это оставило серые тени под глазами. Но они держались прямо. Женя, в простом темном свитере, сразу начала искать глазами мужа среди тех немногих родственников и адвокатов, которых пустили в зал. Света стояла чуть позади, сложив руки на груди, её взгляд был сосредоточенным и спокойным. В их позах не было ни истерики, ни показной бравады. Только глубокое, почти исследовательское наблюдение за тем, как абсурд обретает юридическую силу.

Следователь Игнатов поднялся со своего места. В строгом костюме, с аккуратно подшитой папкой в руках, он выглядел идеальным винтиком системы.

— Ваша честь, — начал он ровным, лишенным каких-либо эмоций голосом. — Следствие ходатайствует об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении обвиняемых Берестович и Петрицкой сроком на два месяца.

Судья, женщина средних лет с непроницаемым лицом, монотонно кивнула, не отрывая взгляда от бумаг на столе.

Игнатов продолжил чтение. Слова падали в тишину зала тяжелыми, свинцовыми каплями. Он говорил об «особой общественной опасности» деяния. О том, что обвиняемые, находясь на свободе, могут продолжить заниматься преступной деятельностью, уничтожить доказательства или оказать давление на свидетелей. Он зачитывал стандартный набор фраз, который кочевал из одного уголовного дела в другое без малейших изменений.

Стекло аквариума бликовало в свете люминесцентных ламп. Нина Вяземская, которой чудом удалось пройти в зал по журналистскому удостоверению, смотрела на профиль следователя. Он не приводил никаких реальных доказательств их намерений скрыться. Ему это было не нужно. В делах такого рода ходатайство следствия являлось не просьбой, а директивой.

— Основанием для возбуждения уголовного дела, — чеканил Игнатов, — послужило экспертное заключение, согласно которому в театральной постановке содержатся признаки оправдания террористической деятельности. Обвиняемые умышленно использовали художественные средства для героизации лиц, причастных к международным террористическим организациям.

Адвокаты протестовали. Они раскладывали на столах стопки поручительств от самых известных и уважаемых людей страны — народных артистов, писателей, благотворителей. Они говорили о двух приёмных дочерях Жени, одна из которых была несовершеннолетней, об особенностях их здоровья, о безупречной репутации, об отсутствии уголовных судимостей. Защита предлагала залог, домашний арест, любые формы ограничения свободы, не связанные с отправкой в следственный изолятор. К делу просили приобщить дипломы «Золотой маски», сведения о государственном гранте, а также отзыв экспертного совета премии, где спектакль характеризовался как направленный на профилактику преступлений.

Нина знала, что такое домашний арест в российских реалиях. Это устройство на ноге, реагирующее на каждый шаг за пределы квартиры. Это запрет на использование интернета и телефона. Это полная изоляция от внешнего мира, когда даже общение с родственниками строго регламентировано. Человек становится заложником в собственном доме, вздрагивая от каждого звука подъехавшей машины.

Но даже эта жестокая мера казалась сейчас спасением по сравнению с СИЗО. Тюремная система была устроена так, чтобы ломать волю. Вяземская читала отчеты правозащитников о том, что происходит в изоляторах. Переполненные камеры, где люди спят по очереди. Невыносимая жара летом, когда пластиковые окна не открываются из-за решеток, и удушающий холод зимой. Отсутствие нормальной медицинской помощи. Душ раз в неделю на пятнадцать минут. Постоянное, унижающее человеческое достоинство наблюдение. Это была система, созданная для того, чтобы человек почувствовал себя никем, стертým в пыль безымянным номером.

Судья слушала доводы защиты с тем же отсутствующим выражением лица. Когда адвокаты закончили, она объявила короткий перерыв и удалилась в совещательную комнату.

В зале повисло напряженное молчание. Женя подошла вплотную к стеклу. Её муж стоял по другую сторону барьера. Они не могли коснуться друг друга, не могли нормально поговорить из-за запрета конвоя. Они просто смотрели друг другу в глаза. В этом взгляде было больше правды и подлинного сострадания, чем во всех томах уголовного дела, лежащих на столе судьи.

Механизм, запущенный антикультовой экспертизой, работал безупречно. Вербовщик в пьесе изолировал Марию от семьи, убеждая её, что близкие — это враги. Государство в реальности изолировало режиссера и драматурга от их семей, коллег и зрителей, убеждая общество,

что эти женщины — преступницы. И там, и здесь применялась одна и та же тактика: разорвать связи, лишить поддержки, поместить человека в вакуум, где его голос больше ничего не значит.

Марья уходила в темноту кулис добровольно, одурманенная ложными обещаниями. Женю и Свету уводили в темноту тюремных коридоров силой, опираясь на ложные экспертизы. Но результат был одинаковым — полная потеря свободы.

Дверь совещательной комнаты открылась. Судья стремительно прошла к своему креслу. Все присутствующие встали.

Чтение постановления заняло не больше пяти минут. Голос судьи сливался в монотонный, лишенный интонаций гул. Суд не нашел оснований для избрания более мягкой меры пресечения. Суд учел тяжесть предъявленного обвинения. Суд постановил удовлетворить ходатайство следствия в полном объеме.

Два месяца содержания под стражей.

В зале кто-то тихо ахнул. Адвокаты начали быстро собирать документы в портфели, готовясь к подаче апелляции, хотя все понимали её бессмысленность.

Конвойные немедленно подошли к дверям стеклянной кабины. Старший офицер достал ключи.

Виктория Берестович обернулась к залу. Она посмотрела на мужа, на бледные лица друзей, на Нину Вяземскую, сжимающую в руках блокнот. И вдруг, вопреки всей тяжести момента, вопреки казенной серости зала и абсурдности обвинения, Женя улыбнулась. Это была ясная, спокойная улыбка человека, который знает, что правда на его стороне, даже если эта правда сейчас заперта в стеклянной клетке.

Дверь аквариума открылась. Металлические браслеты с сухим, резким щелчком сомкнулись на её запястьях. Женщин вывели из зала, оставив после них только гулкое эхо шагов в пустом коридоре и осознание того, что прежняя жизнь закончилась для всех.

Глава 4. Язык угрозы

Деревянные половицы протяжно скрипели под быстрыми, рваными шагами. Марья металась от кулисы к кулисе, прижимая к уху мобильный телефон обеими руками, словно пластиковый корпус был единственным источником тепла в промерзшей насквозь комнате. Сцена тонула в полумраке, лишь узкий луч прожектора следовал за актрисой, выхватывая напряженный изгиб её спины.

Голос Финиста звучал из невидимых динамиков ровно, сухо, отбивая ритм, как метроном. В нём больше не было прежней вкрадчивости. Теперь это был голос учителя, вдалбливающего непонятливому ученику базовые законы физики.

— Ты говоришь, что боишься, — произносил невидимый собеседник. — Ты плачешь. Это потому, что ты держишься за старые слова. В твоём прошлом мире страх считался болезнью. Там учили бежать от него, прятаться в комфорт, в теплые вещи, в пустые разговоры.

Марья остановилась, тяжело дыша.

— Мне страшно от того, что я оставляю маму, — прошептала она в трубку. — Мне кажется, я совершаю предательство. Я сомневаюсь...

— Сомнение — это не твоя мысль, — немедленно отрезал голос, не дав ей договорить. — Сомнение — это шепот тех, кто хочет оставить тебя в рабстве. Они называли твою слабость добродетелью. Они называли твою привязанность к быту — любовью. Но страх, который ты сейчас испытываешь, — это не слабость. Это граница. Ты стоишь на пороге настоящей чистоты, и твоя старая кожа горит, потому что она не может пройти туда вместе с тобой. Страх — это компас. Если тебе страшно, значит, ты идешь в правильном направлении.

Актриса медленно опустилась на пол, обхватив колени. Зрители в зале наблюдали за тем, как совершается невидимая глазу хирургическая операция. Вербовщик не просто давал инструкции. Он методично изымал из сознания женщины привычный словарь и заменял его новым.

— А как же жалость? — голос Марьи дрогнул, но в нем уже слышалась готовность подчиниться.

— Жалость — это гордыня, — припечатал Финист. — Ты думаешь, что знаешь лучше Всевышнего, что для твоих родных благо. Твоя жалость оставляет их во тьме, а тебя тянет на дно. Отсеки её. Назови вещи своими именами. Твоя прошлая жизнь была не домом, а тюрьмой. Твои сомнения — это цепи. Моя правда — это твой единственный ключ.

Марья закрыла глаза и едва заметно кивнула. С каждым переопределенным словом её сопротивление таяло. Вербовщик переводил её чувства на свой язык, где жестокость становилась необходимостью, а изоляция — признаком избранности.

Увесистая папка в серой картонной обложке легла на рабочий стол Нины Вяземской. Сто сорок страниц печатного текста, сшитых суровой ниткой и скрепленных на обороте бумажной пломбой с синей печатью. Курьер из адвокатской конторы ушел пять минут назад, оставив журналистку наедине с документом, который лег в основу уголовного дела против режиссера и драматурга.

Нина включила настольную лампу, придвинула папку ближе и открыла первую страницу.

Это было то самое заключение специалистов лаборатории при лингвистическом университете. Документ, который должен был научно обосновать необходимость отправки двух женщин за решетку. Вяземская начала читать, делая пометки карандашом на полях своего блокнота. Текст изобиловал сложными синтаксическими конструкциями, псевдоакадемическими оборотами и ссылками на некие внутренние методички.

На двадцать восьмой странице карандаш Нины замер. Она перечитала абзац дважды, не веря собственным глазам, затем аккуратно выделила его желтым маркером на копии.

«Примечательно, что всплеск преступлений, обусловленных радикальными феминистскими идеями, совпал со спадом преступлений исламистской направленности, а также со спадом интереса к ее культурным достижениям, таким как упоминаемые героиней пьесы Марюшкой высокопрофессиональные видео со сценами живых казней ИГИЛ, песни Мацураева и иные формы творчества. Пьеса и особенно спектакль успешно преодолевают этот спад интереса, возвращая интерес к различным радикальным идеям в творческое пространство России в качестве источника для драматического творчества».

Вяземская откинулась на спинку стула, чувствуя, как внутри закипает глухое раздражение, смешанное с холодным ужасом.

Авторы документа совершали на бумаге ровно то же самое, что вербовщик делал с сознанием Марьи на сцене. Они брали реальность и переводили её на язык угрозы. Как радикальный феминизм оказался в одном предложении с исламом? Это был лингвистический фокус, шулерство, призванное искусственно слепить из двух совершенно разных явлений единого врага.

Фраза про «высокопрофессиональные видео со сценами живых казней» резала глаз своей абсолютной неуместностью в официальной бумаге. Это была не лексика судебного эксперта, обязанного сохранять нейтральность и беспристрастность. Это был язык бульварной публицистики, инструмент эмоционального шока. Автор текста явно рассчитывал не на логику читающего судьи, а на его рефлекс: увидеть страшные слова и немедленно согласиться с выводами.

Нина открыла ноутбук. Ей нужно было понять, как вообще подобные тексты обретают юридическую силу. Она знала, что профессиональный анализ художественного произведения требует оценки дистанции между автором и персонажем, разбора финала, композиции, последствий поступков героев. В театральной пьесе персонаж может выражать любые радикальные идеи, убивать, предавать, вызывать жалость или отвращение. Но изображение преступления никогда не равняется его поддержке.

Однако в серой папке на её столе этот базовый закон литературы был отменен. Специалисты лаборатории приравнивали художественное изображение к юридическому одобрению. По

этой логике, размышляла Нина, публикация романа «Преступление и наказание» автоматически делает Достоевского пособником убийц, а постановка «Макбета» является призывом к свержению государственной власти.

Пальцы журналистки быстро забегали по клавиатуре. Она зашла в архивы сетевого сообщества «Диссернет», занимающегося выявлением фальсификаций в научных работах. Если система штампует такие заключения сейчас, значит, она тренировалась на ком-то раньше.

Поиск выдал дело активиста Андрея Курузова десятилетней давности. Тогда экспертизу проводила Елена Мочалова — одна из тех, чья подпись стояла под нынешними документами. Курузов получил два года условно за распространение листовки, которую, по утверждению правозащитников, ему просто подбросили.

Нина вчиталась в разбор той старой экспертизы. Аналитики отмечали полное отсутствие исследовательской процедуры. В документе не было ссылок на современную научную литературу, не описывались методы. Выводы строились на субъективных оценках. Чтобы определить пол и возраст автора текста, Мочалова опиралась на такие критерии, как «богатый словарный запас» и «ясность и убедительность изложения». Никаких статистических подсчетов, никаких проверяемых метрик. Просто частное мнение, выданное за научный факт. Более того, эксперт сделала вывод, что две листовки написаны одним человеком, только на том основании, что они содержат обширные дословные совпадения. Логическая дыра размером с пропасть: текст мог быть просто скопирован кем угодно.

Вяземская открыла новую вкладку. В памяти всплыл еще один громкий процесс — дело саентологов в Измайловском суде Москвы. Июль две тысячи пятнадцатого года. Тогда отказ в регистрации религиозной организации базировался на заключении религиоведческой экспертизы, выполненной Ларисой Астаховой.

Нина нашла стенограмму судебного заседания. Защита в суде прямо обвинила эксперта в интеллектуальном подлоге. Астахова в своем заключении привела цитату, якобы доказывающую опасные цели организации, и сослалась на пятую страницу книги Рона Хаббарда. Проблема заключалась в том, что этой цитаты не было ни на пятой странице, ни на любой другой. Эксперт просто выдумала текст, вписала его в официальный документ и поставила подпись. Адвокаты тогда сравнивали это с действиями патологоанатома, который сам капает яд в кровь умершего, а затем пишет заключение об отравлении. И суд принял эту экспертизу.

Система не ошибалась. Она функционировала именно так, как была задумана.

Вяземская встала из-за стола и подошла к окну. Москва внизу жила своей привычной, суетливой жизнью. По Садовому кольцу текли реки машин, люди спешили по делам, не подозревая, что прямо сейчас в тихих кабинетах переписываются правила, по которым их будут судить завтра.

Она вернулась к компьютеру и вбила в поисковую строку имя главного архитектора этой сети — Александра Дворкина. Человека, который возглавлял Экспертный совет при Министерстве юстиции и десятилетиями выстраивал структуру, монополизировавшую право на оценку любых убеждений.

В архивах независимых юридических центров Нина нашла комплексный правовой и лингвистический анализ главной книги Дворкина — «Сектоведение». Независимые эксперты, используя строгие формально-юридические критерии, семантический и дискурсивный анализ, пришли к однозначному выводу. Книга самого Дворкина содержала все признаки экстремистской литературы: формирование враждебных установок, разжигание розни, оправдание уничтожения иных религиозных традиций, использование обобщающих негативных характеристик в отношении целых групп населения.

Это был идеальный, кристально чистый цинизм. Человек, чьи собственные тексты изобиловали маркерами дискриминации и призывами к социальной изоляции меньшинств, руководил теми, кто отправлял в тюрьмы авторов театральных пьес за мифическое «оправдание».

Судебная лингвистика в их руках не использовала идеологические критерии для анализа. Она сама стала идеологией.

Дверь кабинета приоткрылась. На пороге стоял Вадим, выпускающий редактор издания. Он был одет в помятую рубашку, под глазами залегли глубокие тени от хронического недосыпа.

— Нашла что-нибудь? — спросил он, прикрывая за собой дверь.

Нина молча развернула к нему копию экспертизы с выделенным желтым абзацем про радикальный феминизм и видео с казнями. Вадим наклонился над столом, пробежал глазами по строчкам. Его лицо оставалось бесстрастным, только челюстные мышцы напряглись.

— Я готовлю большой разбор, — сказала Вяземская, указывая на исписанный блокнот. — Мы должны показать, как они это делают. Они берут сцену, где женщина страдает от одиночества, и называют показ этой боли скрытой пропагандой радикализма. Они игнорируют контекст. Они придумывают несуществующие цитаты, как в деле пятнадцатого года. Это не экспертиза, Вадим. Это просто набор публицистических штампов, сшитых нитками.

Редактор выпрямился. Он посмотрел на Нину долгим, тяжелым взглядом человека, который знает правила игры гораздо лучше, чем хотел бы.

— Нина, послушай меня внимательно, — его голос звучал тихо, почти вкрадчиво. — Ты читала последние поправки в уголовный кодекс? Те, что приняли на прошлой неделе?

— При чем здесь поправки? Я пишу о лингвистическом подлоге в конкретном судебном документе.

— При том, что если ты сейчас опубликуешь текст, в котором прямо назовешь государственную экспертизу по делу о терроризме фальсификацией, к нам придут через час после публикации. — Вадим оперся руками о край стола. — Ты пытаешься спорить с ними на территории логики. Ты хочешь доказать, что они неправильно трактуют слова. А они больше не трактуют слова. Они их присвоили.

Он постучал указательным пальцем по серой картонной обложке.

— Если государственная бумага говорит, что сострадание на сцене — это уголовное преступление, значит, с сегодняшнего дня это официальное определение сострадания. Если ты пишешь, что эксперты врут, следствие расценит это как давление на суд и дискредитацию органов власти. Мы не сможем выпустить этот разбор в таком виде. Тебе придется сгладить углы. Убрать слова про подлог. Назвать это «спорной методологией».

— Спорной методологией? — Нина почувствовала, как холодеют кончики пальцев. — Вадим, они переводят живой текст на язык кодекса. Они оперируют терминами, которых нет ни в одной науке. Если мы назовем ложь «спорной методологией», мы сами станем соучастниками этого перевода.

— Мы станем изданием, которое продолжит работать завтра утром, — жестко ответил редактор. — Подумай над формулировками. До вечера время есть.

Он развернулся и вышел из кабинета, аккуратно притворив дверь.

Вяземская осталась одна в тишине редакции. Она снова посмотрела на распечатанные листы. Слова, набранные стандартным канцелярским шрифтом, казались теперь физически тяжелыми, ядовитыми.

Она вдруг поняла самое страшное. Экспертиза, лежащая перед ней, вообще не пыталась анализировать спектакль «Финист Ясный Сокол». Документ не исследовал реальность — он создавал собственную. В этой новой, искусственно сконструированной вселенной, скрепленной синими печатями, Виктория Берестович и Елена Петрицкая уже были виновны. Бумаге не требовалось ничего доказывать; ей нужно было просто существовать в материальном мире, занимать место в томах уголовного дела, чтобы дать судье формальное основание для приговора.

Вербовщик в пьесе убеждал Марию, что весь мир вокруг лжет, и только его словарь содержит истину. Государственные эксперты убеждали правовую систему в том же самом. Они

создали замкнутую языковую клетку, где любое возражение автоматически подтверждало диагноз.

Нина закрыла серую папку. Она смотрела на суровую нитку, стягивающую листы, и понимала, что дело больше не в том, чтобы доказать невиновность авторов спектакля. Дело в том, что прямо сейчас, на её глазах, целая страна соглашалась забыть настоящий смысл слов и училась говорить на языке своих тюремщиков.

Глава 5. Точка невозврата

Бордовая обложка загранпаспорта скользнула по гладкому металлу лотка.

На театральной сцене, погруженной в холодный, почти стерильный свет, высилась минималистичная конструкция: рама металлоискателя и узкая стойка из оргстекла. Актриса, играющая Марью, стояла перед этим прозрачным барьером, вцепившись побелевшими пальцами в лямку тяжелой спортивной сумки. Пространство вокруг нее было выстроено так, чтобы передать гулкую, безразличную пустоту транзитной зоны аэропорта. Звукорежиссер пустил фоном едва уловимый, низкочастотный шум вентиляции и неразборчивые объявления диспетчеров, сливающиеся в монотонный гул.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.